

ТЕМА НОМЕРА

ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ

DOI: 10.19181/vis.2023.14.1.2

EDN: POPCJZ



«Проблема Андропова»: к социологической характеристике советского общества

Ссылка для цитирования: Андреев А. Л. «Проблема Андропова»: к социологической характеристике советского общества // Вестник Института социологии. 2023. Т. 14. № 1. С. 29–44. DOI: 10.19181/vis.2023.14.1.2; EDN: POPCJZ

For citation: Andreev A. L. “The Andropov problem”: to a sociological characterisation of the Soviet society. *Vestnik instituta sotziologii*. 2023. Vol. 14. No. 1. P. 29–44. DOI: 10.19181/vis.2023.14.1.2; EDN: POPCJZ



Андреев Андрей Леонидович^{1,2}

¹Институт социологии ФНИСЦ РАН, Москва, Россия

²Национальный исследовательский университет «МЭИ»,
Москва, Россия

sympathy_06@mail.ru

AuthorID ПИНЦ: 72609

Аннотация. Тема статьи – проблема «понимания» советского общества, трактуемая, однако, не в русле так называемой «понимающей социологии», а с точки зрения «портретного» подхода к описанию конкретных социумов, позволяющего выявить их характерологические черты и особенности. На основе сформулированного Н. Бором принципа дополнительности рассматриваются методологические вопросы реализации такого подхода, преимущественно в плане интеграции дискурсов и языков описания социальной реальности. За отправную точку характерологической модели того или иного конкретного общества в статье предлагается взять доминантные для него мотивации и поддерживающие их социокультурные среды, в связи с чем вводится понятие мотивирующей среды социума. Социальная природа советского общества характеризуется на основе сопоставления материалов социологических исследований, статистических данных, оценок видных советских деятелей и суждений «простых советских людей», а также собственных наблюдений. Опираясь на анализ этих материалов, автор доказывает, что системообразующие мотивации советской повседневности – это буржуазные по своему характеру мотивации. В то же время на общем фоне буржуазной *modernity* советское общество выделялось особыми характерологическими чертами, преимущественно связанными с социокультурными трендами последних десятилетий существования Российской империи и особенностями российской модели просветительской модернизации. В первую очередь это отношение к образованию и образованности, которые воспринимались у нас не как инструментальные,

а как терминальные ценности. Проследивая динамику интеллектуальных и духовных запросов российского общества на длинных исторических интервалах, автор рассматривает формирование такого отношения к образованию как культурную революцию. При этом в статье обосновывается принципиально новая трактовка культурной революции, согласно которой её начало предшествовало политическим революциям 1905 и 1917 гг. Отношение к образованию как к терминальной ценности в значительной мере определило логику внутренней эволюции советского общества, в ходе которой в СССР сложились специфические формы социальности, которые предлагается определять как *общество образования*.

Ключевые слова: советское общество, менталитет, ценности, культурная революция, образование, образованность, общество образования

Постановка проблемы

Столетие создания СССР послужило поводом для публикаций, заново возвращающихся к событиям не столь уж далекого советского прошлого. Их авторы снова и снова рассуждают о судьбе огромного государства, во многом определившего весь ход истории XX века. Но в основном – в рамках уже известных нам парадигм. Рассмотреть же советское общество с каких-то новых «точек» наблюдения пока в целом не получается. Соответственно, и в публикациях, навеянных недавно прошедшим «юбилеем» Советского Союза, не так уж много было сказано о нем такого, чего бы мы не слышали ни от советских обществоведов, ни от их оппонентов – западных советологов.

Между тем ещё Ю. В. Андропов откровенно признал, что мы, в сущности говоря, не знали того общества, в котором жили. Разумеется, он имел в виду не его «институциональную схему». Речь, очевидно, шла о другом – о том, «чем живёт» общество, о каком-то более глубоком горизонте его понимания. Можно было бы выразить суть проблемы и по-другому, сформулировав её как *характерологическую проблему*, т. е. проблему *индивидуального своеобразия* общества, отличающего его от других обществ, сопоставимых с ним по уровню социально-экономического и технологического развития.

Обращает на себя внимание то, что попытка определить место советского общества в социальной истории через его соотнесение с некой стандартной типологией общественных систем (в том числе и марксистской) с самого начала требовала оговорок. Это отчётливо проявилось уже при осмыслении социального и политического опыта его становления. Во второй половине 1930-х гг. в СССР в основном сложился унифицированный дискурс, закрепивший трактовку Октября 1917 года как социалистической революции – не рабоче-крестьянской, которая лишь открывает путь к социализму (как считал, в частности, Ленин), а прямо *социалистической*. Тем не менее и в романтический период советской истории даже многие большевики признавали, что на социальную реаль-

ность, которую эта революция создала, можно смотреть и с совершенно другой стороны. В стране, казалось бы, в полном соответствии с идеями Маркса была установлена диктатура пролетариата (в конкретных российских условиях – в союзе с беднейшим крестьянством); политическая воля строить социализм, безусловно, также была. Но на той социальной почве, которую создавал этот курс, произрастали не только «фиалки социализма», но и разного рода «плевелы», воспроизводившиеся в неразрывной связи с теми новыми социальными формами, которые стремилась выпестовать взявшая в руки рычаги власти большевистская партия. Публицистику 1920-х – 1930-х гг. особенно беспокоил неуклонный рост бюрократизма с очевидной тенденцией к отрыву бюрократической прослойки от основной массы населения, а с другой стороны так называемое «мещанство», постоянно соблазнявшее массы якобы ложными ценностями и отвлекавшее их от беззаветной борьбы за лучшее будущее человечества. Ведь, в сущности говоря, выходило, что социализм в России получался каким-то... не вполне социалистическим. Влиятельный в кругу симпатизировавших большевизму интеллектуалов А. А. Богданов, ещё по горячим следам Октябрьских событий высказал мысль, что они открывают путь не к социализму, а к некой новой форме буржуазного общества, где главную роль будет играть технократическая элита [3]. Ленин, разумеется, решительно выступал против подобных взглядов. Но он сталкивался с теми же проблемами и, пытаясь их решать, приходил к весьма парадоксальным формулам. Особенно интересно отметить те ленинские работы и выступления, в которых он сначала чисто теоретически рассуждает о *буржуазном государстве без буржуазии (!)* [7, с. 99], а затем, исходя уже из реального советского опыта, обосновывается совместимость социалистического вектора развития страны с определенными формами капитализма – в частности с госкапитализмом [9]. Многие, включая оппозиционно настроенных по отношению к советскому руководству коммунистов, рассматривали сформировавшуюся в СССР бюрократическую номенклатуру как новую касту эксплуататоров и угнетателей, а Л. Троцкий в этой связи искал путь для того, чтобы «спасти» первое в мире рабочее государство для социалистического будущего¹.

С течением временем поиски и сомнения вытеснялись монументальными идеологическими конструктами, по сути своей исключающими какую-либо амбивалентность в социальных и политических характеристиках. Это создавало ситуацию, в которой политически мотивированная саморепрезентация занимала место знания. И как итог: «мы не знаем общества, в котором живём...». Думается, и сегодня, спустя 30 лет после того, как была перевёрнута последняя страница истории СССР, мы все ещё не разрешили «проблему Андропова». Но, не разобравшись в ней, нельзя до конца уяснить себе и логику становления постсоветских обществ, а стало быть, и ту наличную социальную реальность, в которой нам довелось жить и действовать сегодня.

¹ Заключительная фраза его книги «Преданная революция: что такое СССР и куда он идет?».

Эпистемологические аспекты проблемы

Выработка эмпирически обоснованной характерологической модели советского общества затруднена тем, что грань между сущностью и явлением скрывает от глаз густая завеса мифологий, создававшихся как идеологическими работниками правившей в Советском Союзе ВКП(б) – КПСС, так и их антисоветски настроенными оппонентами (разумеется, с совершенно противоположными намерениями и задачами). Мифы эти воспроизводятся и сегодня, отражаясь, как в осколках разбитого зеркала, в публицистике, различных популярных изданиях и, в особенности, в произведениях экранных искусств, где создающее «эффект присутствия» скрупулёзное следование деталям предметной обстановки («Эмки» и «Победы» на улицах, чёрные старомодные телефоны и столы с зелёным сукном, хорошо знакомые старшему поколению будки телефонов-автоматов и т. п.) сочетается с надуманными сюжетами и совершенно невозможными в советские времена мизансценами.

Есть, однако, и объективные сложности, вытекающие из природы научной рациональности. Они, в частности, связаны со специфическими эффектами так называемого принципа дополнительности, характеризующего обширный класс познавательных ситуаций, в рамках которых средства наблюдения и позиция наблюдателя неотделимы от предмета наблюдения. Очевидно, что общество принадлежит к числу таких объектов. Причём применительно к социальным системам принцип дополнительности может значительно усложняться по сравнению с первоначальной его формулировкой, предложенной Н. Бором в контексте исследований по квантовой физике. А именно: в социумах эпохи модерна, для которых чрезвычайно значимыми становятся «эффекты сложности», всегда формируется несколько не совпадающих и даже несовместимых друг с другом идеологических и аналитических перспектив. Такая «сложностная» реальность [10] в принципе не может быть представлена в рамках какой-либо одной из них, при том, что число необходимых для её анализа дескриптивных языков и, соответственно, теоретических дискурсов, может быть существенно большим, чем требуется для описания квантовых объектов (для этих последних, как известно, достаточно дискурсов двух типов, один из которых использует язык пространственно-временных отношений, а другой язык энергетически-импульсных характеристик). Это в полной мере касается и социологии советского общества, а также его теоретико-социологических определений: для кого-то это была «весна человечества», волнующий порыв к светлому будущему, для кого-то огромный ГУЛАГ, для кого-то скудная, однообразная жизнь, «империя зла», ответственная едва ли не за все беды XX века, а для кого-то впечатляющий пример практической реализации принципа социальной справедливости.

Возникает вопрос: как может быть устроено множество описаний «сложностной» социальной реальности. Может ли оно принимать форму упорядоченной иерархии, или же все языки описания имеют одинако-

вый статус, и, как следствие этого, соответствующие дискурсы являются абсолютно равноправными и равноценными? В отличие от восходящей ещё к Бору стандартной версии принципа дополнительности, мы утверждаем, что отношения между различными языками описания социальной реальности и, соответственно, между социологическими дискурсами не могут быть совершенно паритетными: ведь когда предметом рассмотрения становится история культуры, умственная жизнь человечества, такой релятивизм приводит к совершенно абсурдным следствиям, когда научная картина мира становится равноценной мифологической на том основании, что они обе представляют собой просто разные способы миропонимания. С нашей точки зрения, для множества языков, описывающих некую конкретную социальную систему, должна строиться опорная языковая платформа – язык (дискурс), выполняющий функции *интерконнектора* и представляющий собой своего рода промежуточное концептуальное поле, в рамках которого можно свести в некоторое рационально понимаемое единство все теоретически и фактологически обоснованные описания исследуемых объектов, включая те, которые, на первый взгляд, несовместимы друг с другом. В этом случае мы получаем уже не россыпь «частичных истин», а связную концептуальную структуру, в которой задана процедура перехода от какого-либо произвольно взятого дескриптивного языка к любому другому по схеме $\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \rightarrow \{L_1, L_2, \dots, L_m\} \rightarrow \{Y_1, Y_2, \dots, Y_k\}$, где $\{X_i\}$ – множество высказываний на дескриптивном языке X , $\{Y_j\}$ – множество высказываний на дескриптивном языке Y , L – язык-интерконнектор (который в свою очередь также является одним из дескриптивных языков, относящихся к данному предметному полю).

Строгая операционализация связи разных дескриптивных языков и использующих эти языки аналитических дискурсов – это очень специальная философско-методологическая задача, обсуждение которой выходит далеко за рамки настоящей статьи. Не будем разбирать её подробно, а лишь поясним суть дела на одном наглядном примере из истории познания, который, по нашему мнению, можно рассматривать как парадигмальный образец выхода из сходной и притом, казалось бы, тупиковой эпистемологической ситуации.

Мы имеем в виду ситуацию, когда в ходе развития античной философской мысли возникли два совершенно противоположных друг другу и одновременно претендующих на универсальность онтологических дискурса – условно говоря, «гераклитовский» («все течёт, все изменяется») и «парменидовский» (бытие неподвижно и не подвержено изменениям). Противоречие между этими вроде бы несовместимыми онтологиями удалось достаточно эффективно разрешить – но не в результате однозначного опровержения какой-то одной из них, а посредством формирования нового дискурса, содержащего в себе своего рода «логические проекции» как гераклитовской, так и парменидовской онтологии и потому выступающего в роли интерконнектора. В качестве такого онтологического дискурса выступил, в частности, атомизм, в котором есть смысловые

аналоги как парменидовского, так и гераклитовского способа описания реальности. При этом, однако, устранялась их логическая несовместимость, поскольку эти противоположные друг другу способы описания закреплялись за разными уровнями сущего: первый за чувственно не воспринимаемыми неделимыми частицами – атомами, а второй – за чувственно воспринимаемыми вещами, представляющими собой как бы «комки» из слипшихся между собой атомов.

Приведённый пример даёт нам своего рода методологический ключ для поиска интегрирующих подходов к пониманию многосложного и многоликого жизненного мира советского общества. Решение и в интересующем нас случае состоит, по-видимому, не в утверждении какой-то «единственно верной» характеристики этого общества (социалистическое? рабоче-крестьянское? репрессивное? неоимперское? идеократическое? патерналистское? общество тотального дефицита? и т. д.), а в том, чтобы выстроить как бы поверх всех этих разноречивых определений некоторую новую аналитическую перспективу. На наш взгляд, – такую, в рамках которой все такие определения могут быть представлены как частные «проявления характера» данного общества, по-разному раскрывающегося занимающим разные позиции и придерживающимся разных установок наблюдателям. Соответственно, язык, позволяющий говорить о «характере» общества, развертываемся в многообразных, в том числе и не согласующихся друг с другом, определениях, может рассматриваться в качестве естественного интерконнектора, опосредствующего логико-смысловые отношения между различными способами описания. Причём использование данного языка позволило бы сличать эти описания с тем, что мы можем принять за их интенциональный коррелят (в смысле Гуссерля), или, если угодно, соотнести их с субстанциальными основаниями социальной реальности, данной нам одновременно в нескольких ипостасях – и как совокупность «социальных фактов», и как переживаемая реальность, и как особого рода конструкт, и как укорененное в коллективной практике становящееся бытие.

Мотивирующая среда социума

Если принять за аксиому, что элементарной «клеточкой» социальной реальности является ориентированное на определённый результат социальное действие (вариант: взаимодействие), то социологический «портрет» любого общества, взятого в его конкретной индивидуальности, было бы логично начинать с того, с чего начинается каждое такое действие, – а именно, с мотивации. При этом, разумеется, речь должна идти не о сугубо индивидуальных, а о типичных, устойчиво воспроизводимых в данном социуме, мотивациях. Выстраивая нашу линию рассуждений, будем исходить из того, что «черты характера» того или иного общества, а также обусловленные ими коллективные реакции на разного

рода воздействия и изменения условий жизни в основе своей задаются массовыми поведенческими ориентациями и массовыми же мотивациями. Именно мотивации и их трансляция определяют доминирующие в том или ином социуме модели *повседневного целеполагания*, а следовательно, те неброские и обычно кажущиеся малозначительными акты повседневного поведения, из которых как раз и складывается совокупная жизнедеятельность конкретного отдельно взятого общества. Теперь задача построения *характерологической модели* того или иного социума, исходя из которой можно соотнести его отображения в смысловых структурах различного типа, включая «частичное» понимание и даже «ложное сознание» (в смысле Маркса), приобретает вполне отчётливые очертания: для этого надо построить такой социологический дискурс, в основе которого лежит язык описания социально значимых мотиваций, а также социальных (социокультурных) сред, обеспечивающих их воспроизводство и распространение.

В этой связи представляется целесообразным ввести новое понятие – *мотивирующей среды социума*, которое, на наш взгляд, имеет ключевое значение для создания индивидуализированных «социологических портретов» различных обществ. Социологическую реконструкцию доминирующих мотиваций того или иного общества – в особенности, если она производится в кросс-культурных контекстах, – логично рассматривать как основу и исходный пункт для его (общества) характерологических описаний. На этом фундаменте можно строить «индивидуализированные» модели факторов социокультурной динамики, дающие, в частности, ключ к пониманию того, почему общества, находящиеся на приблизительно одинаковом уровне развития и в сопоставимых внешних условиях, в силу своего «характера» с течением времени эволюционируют по особым, нередко расходящимся траекториям, демонстрируя при этом разную восприимчивость к инновационным процессам. Хотелось бы специально подчеркнуть: взяв за отправной пункт социологической характеристики того или иного общества его специфический мотивационный профиль, мы отнюдь не переходим на позиции так называемой субъективной социологии, и не отказываемся от установления объективных причин социальных явлений. На самом деле здесь просто отражается тот факт, что в социальных системах причинно-следственные связи, как правило, «закольцовываются», а следствия и причины постоянно меняются местами, образуя сложные конфигурации нелинейного типа, в которых попытка однозначно разделить взаимодействующие элементы на «первичные» и «вторичные», в сущности, равносильна возобновлению знаменитого спора о том, что было раньше, – яйцо или курица. Данную проблему (а точнее, псевдопроблему) можно снять, допустив, что специфическую для того или иного общества систему мотиваций можно рассматривать как локус, в котором пересекаются и выстраиваются в своего рода итоговую равнодействующую все направляющие развитие того или иного общества линии детерминации.

Ценности повседневной жизни

Вернёмся теперь к «проблеме Андропова» и в свете изложенных выше методологических соображений представим вариант характерологического описания советского общества как определённой мотивирующей среды. Прежде всего – каким бы парадоксальным это кому-то не показалось – нам придётся в целом согласиться с той высказывавшейся ещё в первые послеоктябрьские годы точкой зрения, что советское общество, несмотря на декларации лидеров ВКП(б)/КПСС и ориентированного на них «официального» марксизма, формировалось и сформировалось как *буржуазное* общество. Но только ли вследствие возникновения отчужденного от трудовых масс слоя номенклатурной бюрократии, который уже в 1920-е гг. стал превращаться в привилегированную касту? Да, верно: значительная часть большевистской верхушки быстро привыкала к роскоши, приобретала откровенно барские ухватки, перенимала – как правило, в шаржированном виде – многие легко узнаваемые формы буржуазно-аристократического быта: достаточно вспомнить хотя бы о «великосветских» приёмах у мадам Розенель (жена А. В. Луначарского) или мадам Хаютиной (жена шефа НКВД Н. И. Ежова)... Но у вопроса есть и другая сторона – те, кого принято называть массами. Что можно сказать по поводу их мыслей, запросов, желаний и в первую очередь по поводу их представлений о «нормальной» («хорошей») жизни и моделях самореализации, в особенности – сложившихся в период становления советского общества, когда формировались «стартовые условия» его развития? Об этом можно судить по письмам, также дневникам и воспоминаниям, ставшим в последнее время предметом социологического анализа.

В содержании этих документов, охватывающих в совокупности огромные пласты жизни и несколько десятилетий истории огромного государства, перипетии которой отразились в переменчивых судьбах множества людей, причудливо переплетены разные смысловые аспекты: они рассказывают об успехах, неудачах и опасениях, о голоде и достатке, о личных переживаниях и условиях существования, об утратах и обретениях, личных планах и надеждах на будущее. Здесь практически нет или очень мало элементов официозной риторики, хотя заметно, что с самого начала 1920-х гг. и вплоть до «золотой осени» советской власти значительная часть советских граждан так или иначе верила в перспективу создания какого-то нового, лучшего общества, а их идентичность строилась на эмоциональной связи с этим социальным проектом. Некоторые пишут о своих попытках изучить Маркса, об искреннем стремлении работать на благо общества, декларируют приверженность коллективистской морали, принципы которой представляются неоспоримыми. И вместе с тем в этом обширном письменном наследии своего рода постоянным рефреном проскальзывает звучащий то в виде стыдливой уступки жизненным обстоятельствам, то в виде откровенности с самим собой характерный мотив устремленности к личному благополучию, понимаемому, в сущности, на буржуазный манер – преимущественно

как реализация определенной модели потребления [6]. Конечно, стандарт потребления при этом сильно варьировался в зависимости как от личных склонностей, так и, в ещё большей степени, от жизненных обстоятельств. Для только что приехавших из разорённой деревни строителей индустриальных гигантов первой пятилетки пределом стремлений было перебраться из барака в собственную комнату, справиться себе приличное пальто, получше устроиться на службе... В общем, как говорили *до революции*, «выбиться в люди» (а так ли уж сильно изменила революция массовую психологию на её архетипическом уровне?). Те же, кому удалось «выбиться», демонстрировали иной горизонт запросов, для них становилось доступным обладание теми атрибутами достатка, какими раньше обладали господа, что помимо всего прочего имело ещё и важное символическое значение. Скажем, для знаменитой стахановки П. Ангелиной наглядной реализацией представлений о «хорошей жизни» было то, что у неё, по рождению простой крестьянки, дочери выглядят как настоящие барышни, учатся музыке и уже играют Шопена и Чайковского [1].

В литературе уже отмечалось, что советский человек существовал как бы одновременно в двух мирах. С одной стороны, это вызывающий к пафосу героического энтузиазма мир общественно значимых задач и «великих свершений»; с другой стороны, наполненный мелкими, но назойливыми проблемами мир повседневной рутины, личных дел и частных бытовых интересов, в котором надо было «уметь жить» и «уметь устроиваться». Этот мир повседневности, ориентированный на приобретение и потребление, был естественным генератором буржуазных в основе своей ценностных ориентиров и потому с самого начала существования советского общества задавал ему характерно буржуазный вектор развития. Другой вопрос, что данный вектор был не единственным, он перекрывался действием других факторов и тенденций, однако с окончанием «героического периода» истории СССР его значение нарастало и постепенно становилось определяющим. Те, кому довелось жить в Советском Союзе в последние десятилетия его существования, хорошо помнят эту атмосферу девальвации коммунистической идеи и социальных практик «развитого социализма». Развернувшиеся во второй половине 1980-х гг. дискуссии о «критериях социалистичности» не произвели в обществе какого-то особого резонанса, поскольку не отвечали устремлениям ни одного социального слоя. «Простой советский человек» хотел уже не социализма – пусть даже «с человеческим лицом», – он хотел общество потребления.

В политической публицистике левого толка социальный переворот начала 1990-х гг., как правило, характеризовался как буржуазная контрреволюция. Эмоционально эти оценки можно понять, но, по сути, с ними нельзя согласиться. Реальная возможность такого развития событий была заложена в социальной природе советского социума, и притом с самого начала. То, что случилось в начале 1990-х, строго говоря было своего рода *самораскрытием* его подспудных интенций, если угодно – завершением того диалектического круга, в конце которого сущее-в-себе становится для-себя-сущим.

Общество и образование: русская и советская традиции

Однако ограничиться только данным выводом, поставить на этом точку было бы все же неправильно. Как показал ещё М. Вебер, буржуазные отношения и буржуазные по своему ментальному складу общества могут существовать в разных формах и в силу этого развиваться по весьма различным траекториям. Это объясняется целым рядом причин – многообразием географических условий, различием исторически сформировавшихся культурных традиций, конкретным геополитическим окружением и т. д. Наша страна в этом отношении не составляет исключения. Факторов, которые в разной степени обуславливали черты её своеобразия в разные периоды нашей истории, много, и мы, конечно, не можем рассмотреть их все в рамках одной статьи. Считаем, однако, очень важным выделить и рассмотреть один из таких факторов, который, на наш взгляд, имеет ключевое значение для характерологического анализа советского социума как *мотивирующей среды*.

Если сравнивать советское общество с современными ему западными обществами не столько в институциональном плане (частнопредпринимательский капитализм vs государственный капитализм; либеральная плюралистическая демократия vs «партийное» государство), сколько по социетальным параметрам, можно заметить очень характерные различия в отношениях общества к образованию и, шире, к интеллектуальной деятельности вообще. Но эти различия не являются продуктом советской системы как таковой, они восходят к более ранним периодам российской истории и коренятся в той парадигме модернизации, в рамках которой сложился исторический путь России на протяжении Нового времени, хотя в советское время они и становятся особенно рельефными.

Одной из характерных примет русской жизни последних двух десятилетий XIX в. является интенсивная образовательная активизация народной среды. Эта тенденция хорошо прослеживается уже на самой низшей, издавна привычной и доступной для всех низовых социальных слоев ступени обучения, каковой в те времена была школа грамоты и церковно-приходская школа. Широкое распространение школ грамоты на основе собственной инициативы местных крестьянских обществ началось фактически сразу же после отмены крепостного права. Но с середины 80-х годов этот процесс приобретает такую динамику, которая позволяет говорить о *революционном* характере происходящих социокультурных процессов. В 1884–1885 гг. в стране было 840 официально зарегистрированных школ грамоты (фактически их, конечно, было больше), а в 1888–1889 гг. по официальной статистике их насчитывалось уже 9215 (т. е. общее их число за какие-то 4–5 лет увеличилось в 11 раз). При этом произошло значительное и к тому же достаточно резкое ускорение темпов роста уровня образования населения. Ежегодный прирост среднего числа лет обучения одного человека старше 9 лет в конце 50-х годов XIX века установился на уровне 0,007–0,008

и не менялся в течение по крайней мере трех десятилетий (отметим, что на динамике данного показателя практически не отразилась даже отмена крепостного права), но приблизительно с 1887 г. данный показатель начинает расти примерно в 2 раза быстрее – со скоростью 0,15–0,16 в год [12, с. 124]. К концу XIX в. в народной среде начинает складываться понимание недостаточности простого умения читать, писать и считать. Характерное для недавнего ещё прошлого недоверие к «господской» учёности рассеивается, уступая место растущему стремлению обеспечить детям возможность получить образование выше простой грамотности. В том числе в гимназии или реальном училище, окончание которых давало право поступать в высшие учебные заведения.

По сути дела, это было не что иное, как *культурная революция*, которая на самом деле началась спонтанно и значительно раньше, чем о ней объявили большевики. Её наступление выразилось в формировании широчайшего запроса на доступ к образованию, знаниям и культуре, который в сознании масс, включая теперь уже и ранее не стремившиеся к этому низовые слои, все теснее увязывалось с перспективами восходящей социальной мобильности. Было бы несправедливо утверждать (как это делал Ленин), что царское правительство «огрabiло» наш народ в смысле просвещения [8]. На самом деле правительство предпринимало в этой области очень серьёзные усилия. В 1906 г. был принят хорошо финансируемый из госбюджета план ликвидации неграмотности, быстро увеличивалось количество учебных заведений всех типов и уровней. Доля ассигнований на народное образование в России превышала аналогичный показатель других ведущих стран Европы. Численность студенчества за годы правления Николая II возросла почти в 4 раза, а его состав стремительно демократизировался [5, с. 171–178]. Но в обстановке интенсивного развития, вызвавшего «перегрев» социальной системы, запросы и притязания масс стали значительно опережать открывающиеся возможности. И это противоречие вызвало острейший социальный кризис, генерировавший мощные революционные импульсы. В этом плане политическую революцию 1917 г. можно рассматривать как определённый этап уже развернувшейся культурной революции, за которой последовала её радикализация – собственно большевистская культурная революция. Октябрь 1917 г. часто характеризуют как революцию модернизации, и это в известном смысле верно. Но у него есть и другая сторона: это была ещё и *революция замещения*. Миллионы людей стремились стать на место культурного слоя, исторически связанного с нашим отечественным *ancien régime*. Причём для них это было не просто восхождение по лестнице социальных статусов, но, если угодно, обретение нового антропологического качества и полная смена идентичности, которая потребовала символической отмены «проклятого прошлого». Переналадка механизмов доступа к образованию и опирающаяся в том числе и на насильственные (революционные!) методы трансформация его содержания – что вплоть до середины 1930-х гг. осуществлялось большевиками с большой настойчивостью – на самом деле является наиболее эффективной технологией такого антропологического превращения.

С течением времени обстановка в Стране Советов, а вместе с ней и парадигмы государственной культурной политики претерпевали изменения. Скажем, советское общество, его образ жизни, характер социальных мотиваций в 1970-е гг. были совсем не похожи на то, какими они были в 1920-е или 1930-е. Однако сформировавшееся ещё до революции и в первые годы советской власти отношение к образованию и образованности как приоритетным ценностям сохранилось. Показательно, например, что советские женщины значительно чаще, чем, например, американки, отмечали среди качеств, которые они хотели бы видеть в своих детях стремление к знаниям и успехи в учёбе: в СССР это 2-я ранговая позиция в списке приоритетов, в США – 10-я [14, с. 98–100]. Таким образом, важнейшей характерологической чертой советского социума было то, что образование и образованность были для большинства советских граждан не только средством повышения социального статуса и благосостояния (т. е. инструментальной ценностью), но самодовлеющей целью, достижение которой свидетельствовало о том, что «жизнь состоялась» (т. е. терминальной ценностью).

Культурная практика довольно большей части населения свидетельствовала о специфически просвещенческих и даже в какой-то мере «интеллектуалистских» настроениях. Так, судя по имеющимся в нашем распоряжении данным социологических исследований, в 1960-е – 1970-е гг. в активных социальных группах городского населения самообразованием занимались в то время от 37% (рабочие, служащие) до 58–59% (интеллигенция) опрошенных. Наряду с этим в структуре жизнедеятельности большое место занимала реализация различного рода «развивающих» культурных интересов, и в частности чтения. Около 55% населения практически ежедневно находили время для чтения книг и ещё 15–20% читали их не реже нескольких раз в месяц [4, с. 431–508]. Распространённым явлением было и чтение «толстых» журналов, имевшее отчетливо выраженную познавательную направленность.

Интенсивное развитие образования имело весьма важные социальные последствия. Буквально за несколько десятилетий оно существенно изменило социокультурный профиль общества. В послевоенный период численность граждан с образованием выше среднего примерно каждые 10 лет удваивалось. К середине 1970-х годов она превысила 30 млн человек. Если в 1913 г. доля лиц, принадлежащих к данной социальной категории, исчислялась десятыми долями процента, а в предвоенные годы она не превышала 1,5%, то в 1975 г. она равнялась примерно 12%, т. е. диплом вуза или техникума имел к этому времени примерно каждый восьмой гражданин СССР. Это означало значительное повышение плотности распределения носителей образованности и культуры в социальном пространстве. Лица с образованием выше среднего появились в «ближнем круге общения» не только практически каждого горожанина, но и значительной части сельских жителей. Возникла качественно новая социальная ситуация, когда присущие образованной части

населения модели поведения, жизненные стратегии, ценности стали превращаться из корпоративно-групповых в универсальные, а в каком-то смысле и общенародные.

Если сопоставить различные данные такого рода с происходившими в те годы институциональными сдвигами (переход к всеобщему среднему образованию, количественное и качественное развитие высшей школы, формирование системы дополнительного и досугового образования), то применительно к Советскому Союзу по крайней мере с конца или даже с середины 1950-х годов можно, на наш взгляд, говорить о качественной трансформации социума. К середине 1970-х гг. доля населения с образованием не ниже среднего поднялась до 77%, а с образованием выше среднего – до 10% (в предвоенные годы она составляла лишь 1,5%). В результате значительно повысилась плотность распределения носителей образованности и культуры в социальном пространстве. Можно говорить о том, что лица с образованием выше среднего появились в «ближнем круге общения» не только практически каждого горожанина, но и немалой части сельских жителей. Образованный человек, который ещё в предвоенные и даже первые послевоенные годы воспринимался как своего рода антипод «простого» человека (даже как своего рода «советский барин»), становился массовой, обычной социальной фигурой. Но дело не только в этом. Ещё важнее то, что характерные для образованной части населения модели поведения, жизненные стратегии, установки и ценности стали превращаться из корпоративно-групповых в универсальные, а в каком-то смысле и в общенародные. Показательно, что проводившиеся в начале 1960-х гг. эмпирические исследования советских социологов зафиксировали ярко выраженную вовлечённость людей в различные виды дополнительного образования и самообразования, которые стали рассматриваться как необходимый момент личностной самореализации и необходимый атрибут «современной» жизни. В структуре жизнедеятельности «новых образованных людей» 1950–1970-х гг. большое место занимала реализация различного рода «развивающих» культурных интересов, в частности чтения [11]. Эти сдвиги отчетливо коррелируют с мотивационной основой социума: так, в 1970–80-е гг. советские женщины значительно чаще, чем, например, американки, отмечали среди качеств, которые они хотели бы видеть в своих детях, стремление к знаниям и хорошие успехи в учебе: в СССР это вторая ранговая позиция в списке приоритетов, тогда как в США – десятая [14]. На наш взгляд, в этой связи мы с полным правом можем говорить о становлении в СССР особого типа социальности, который мы предложили бы назвать *обществом образования* [2]. И полагаем, что в этом плане социальные установки советской повседневности и социальные практики советского общества по крайней мере на три десятилетия опередили программу формирования «общества знаний» и «обучающегося общества», которая была выдвинута на международном уровне [16] на рубеже истекшего и нынешнего столетий. В то же время в рамках советской системы формируется своего рода «конкордат» властвующей

номенклатуры с приобретающим некую подспудную идеологическую независимость интеллектуальным классом, а с другой стороны, в центрах концентрации научно-технической и художественной интеллигенции (академгородки, ведущие НИИ, творческие союзы) складывается своего рода децентрализованное «параллельное общество» с новой протополитической структурностью [13], предвещающая реальные политические коллизии времен «перестройки» и последовавших за ней «демократических» реформ.

Библиографический список

1. Ангелина П. Н. Люди колхозных полей // Октябрь. 1948. № 6. С. 86–148.
2. Андреев А. Л. О модернизации образования в России. Историко-социологический анализ // Социологические исследования. 2011. № 9. С. 111–120.
3. Андреев А. Л., Кузнецова Т. В. Общество, культура, политика в теоретическом наследии А. А. Богданова // Философия и общество. 2018. № 1. С. 5–17. DOI: 10.30884/jfio/2018.01.01.
4. Грушин Б. А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Очерки массового сознания россиян эпохи Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина. Жизнь 1-я. Эпоха Хрущева. М.: Прогресс-традиция, 2001. 624 с.
5. Иванов А. Е. Студенчество России конца XIX – начала XX века: социально-историческая судьба. М.: РОССПЭН, 1999. 414 с.
6. Козлова Н. Н. Горизонты повседневности советской эпохи: голоса из хора. М.: ИФРАН, 1996. 216 с.
7. Ленин В. И. Государство и революция // Ленин В. И. ПСС. Т. 33. М.: Полит. лит-ра, 1974. С. 3–120.
8. Ленин В. И. К вопросу о политике министерства народного просвещения // Ленин В. И. ПСС. Т. 23. М.: Полит. лит-ра, 1973. С. 127–135.
9. Ленин В. И. XI съезд РКП(б). Политический отчет Центрального комитета РКП(б) // Ленин В. И. ПСС. Т. 45. М.: Полит. лит-ра, 1977. С. 69–118.
10. Майнцер К. Сложносистемное мышление. Материя, разум, человечество. Новый синтез. М.: Либроком, 2009. 464 с.
11. Массовая информация в советском промышленном городе: Опыт комплексного социологического исследования. М.: Политиздат, 1980. 446 с.
12. Миронов Б. Н. Экономический рост и образование в России и СССР в XIX и XX веках // Отечественная история. 1994. № 4-5. С. 111–125.

13. Неклесса А. И. Интеллектуальный, творческий и мотивированный персонаж // Независимая газета. 21.02.2023.
14. Советский простой человек: опыт социального портрета на рубеже 90-х. М.: ВЦИОМ, 1993. 300 с.
15. Троцкий Л. Д. Преданная революция: что такое СССР и куда он идёт? М.: RUGRAM, 2017. 172 с.
16. UNESCO. Towards Knowledge Societies. Paris: UNESCO Publishing, 2005. 226 p.

Получено редакцией: 22.10.2022

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Андреев Андрей Леонидович, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник, Институт социологии ФНИСЦ РАН, Москва, Россия; профессор, Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, Россия

DOI: 10.19181/vis.2023.14.1.2

EDN: POPCJZ

“The Andropov problem”: To a Sociological Characterisation of the Soviet Society *Andrey L. Andreev*

Institute of Sociology of FCTAS RAS, Moscow, Russia;

National Research University “Moscow Power Engineering Institute”, Moscow, Russia

E-mail: sympathy_06@mail.ru

ORCID: 0000-0003-1692-573X

For citation: Andreev A. L. “The Andropov problem”: to a sociological characterisation of the Soviet society. *Vestnik instituta sotziologii*. 2023. Vol. 14. No. 1. P. 29–44. DOI: 10.19181/vis.2023.14.1.2; EDN: POPCJZ

Abstract. The topic of the article is the problem of “understanding” the Soviet society, interpreted, however, not in line with the so-called “understanding sociology”, but from the point of view of a “portrait” approach to describing particular societies, that allows to identify their characterological features and specifics. On the basis of the complementarity principle formulated by N. Bohr, methodological issues of implementing such an approach are considered, mainly in terms of integrating discourses and languages for describing social reality. As a starting point of the characterological model of a particular society, the article proposes to take its dominant motivations and the sociocultural environment that supports them. For this purpose the concept of a motivating environment of society is introduced. The social nature of the Soviet society is being characterised on the basis of a comparison of sociological research materials, statistical data, assessments of prominent Soviet figures and judgments of “ordinary Soviet people”, as well as the author’s own observations. Based on the analysis of these materials, the author proves that the system-forming motivations of the Soviet everyday life are in fact bourgeois in nature. At the same time, against the general background of bourgeois modernity, the Soviet society stood out for its special characterological features, successively associated with the sociocultural trends of the last decades of the existence of the Russian Empire and the peculiarities of the Russian model of educational modernisation. First of all, it is the attitude to education and erudition, that we perceived not as instrumental, but as terminal values. Tracing the dynamics of the intellectual and spiritual needs of the Russian society over long historical intervals, the author considers the formation of such an attitude towards education as a cultural revolution. At the same time, the article substantiates a fundamentally new interpretation of the cultural revolution, that supports the idea that the beginning of the cultural revolution preceded the political revolutions of 1905 and 1917. The attitude to education as a terminal value largely determined the logic of the internal evolution of the Soviet society, during which specific forms of sociality developed in the USSR, that authors propose to define as the society of education.

Keywords: Soviet society, mentality, values, cultural revolution, education, erudition, society of education

References

1. Angelina P. N. Lyudi kolhoznyh polej [People of collective farm fields]. *Oktyabr*, 1948: № 6: 86–148 (in Russ.).
2. Andreev A. L. O modernizacii obrazovaniya v Rossii. Istoriko-sociologicheskij analiz [On the modernization of education in Russia. Historical and sociological analysis]. *Sotsiologicheskie issledovaniya*, 2011: 9: 111–120 (in Russ.).
3. Andreev A. L., Kuznetsova T. V. Society, culture, politics in the theoretical heritage of A. A. Bogdanov. *Filosofiya i obshchestvo*, 2018: 1: 5–17 (in Russ.). DOI: 10.30884/jfio/2018.01.01.
4. Grushin B. A. Chetyre zhizni Rossii v zerkale oprosov obshhestvennogo mneniya. Ocherki massovogo soznaniya rossiyan epohi Hrushheva, Brezhneva, Gorbacheva i Elcina. Zhizn 1-ya. Epoha Hrushheva [Four lives of Russia in the mirror of public opinion polls. Essays on the mass consciousness of Russians of the era of Khrushchev, Brezhnev, Gorbachev and Yeltsin. Life 1st. The Khrushchev era]. Moscow, Progress-tradiciya, 2001: 624 (in Russ.).
5. Ivanov A. E. Studenchestvo Rossii konca XIX – nachala XX veka: social'no-istoricheskaya sud'ba [Russian students of the late XIX – early XX century: socio-historical fate]. Moscow, ROSSPEN, 1999: 414 (in Russ.).
6. Kozlova N. N. Gorizonty povsednevnosti sovetskoj epohi: golosa iz hora [Horizons of everyday life of the Soviet era: voices from the choir]. Moscow, IF RAN, 1996: 216 (in Russ.).
7. Lenin V. I. Gosudarstvo i revolyuciya [The State and the Revolution]. In Lenin V. I. The Complete Works. Vol. 33. Moscow, Polit. lit-ra, 1974: 3–120 (in Russ.).
8. Lenin V. I. K voprosu o politike ministerstva narodnogo prosveshheniya [On the issue of the policy of the Ministry of Public Education]. In Lenin V. I. The Complete Works. Vol. 23. Moscow, Polit. lit-ra, 1973: 127–135 (in Russ.).
9. Lenin V. I. XI s'ezd RKP (b). Politicheskij otchet Central'nogo komiteta RKP (b) [XI Congress of the RCP (b). Political report of the Central Committee of the CP (b)]. In Lenin V. I. The Complete Works. Vol. 45. Moscow, Polit. lit-ra, 1977: 69–118 (in Russ.).
10. Mainzer K. Complex system thinking. Matter, mind, humanity. A new synthesis. Transl. from Eng. by A. V. Berkova. Moscow, Librokom, 2009: 464 (in Russ.).
11. Massovaya informaciya v sovetskom promyshlennom gorode: Opyt kompleksnogo sociologicheskogo issledovaniya [Mass information in the Soviet industrial city. Experience of complex sociological research]. Moscow, Politizdat, 1980: 446 (in Russ.).
12. Mironov B. N. Ekonomicheskij rost i obrazovanie v Rossii i SSSR v XIX i XX vekax [Economic growth and education in Russia and the USSR in the XIX and XX centuries]. *Otechestvennaya istoriya*, 1994: 4-5: 111–125 (in Russ.).
13. Neklessa A. I. An intelligent, creative and motivated character. *Nezavisimaya gazeta*, 21.02.2023. (in Russ.).
14. Sovetskij prostoj chelovek: opyt socialnogo portreta na rubezhe 90-x [Soviet simple man: the experience of a social portrait at the turn of the 90s]. Moscow, VCIOM, 1993: 300 (in Russ.).
15. Trockij L. D. Predannaya revolyuciya: chto takoe SSSR i kuda on idet? [Revolution betrayed: What is the USSR and where is it going?]. Moscow, RUGRAM, 2017: 172 (in Russ.).
16. UNESCO. Towards Knowledge Societies. Paris, UNESCO Publishing, 2005: 226.

The article was submitted on: October 10, 2022

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Andrey L. Andreev, Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Chief Researcher, Institute of Sociology of FCTAS RAS; Professor, National Research University “Moscow Power Engineering Institute”